

**СЕРГЕЙ
ГАРИН**

САВЕЛИЙ
ПЕТРОВИЧ

Сергей Александрович Гарин Савелий Петрович

Аннотация

«Мигал керосиновый фонарь у подъезда алатуевского общественного собрания...

Неуклюжий и длинный, этот фонарь торчал на чугунном кронштейне, как нахохлившийся ворон, уныло освещая одиноким глазом каменные плиты тротуара. Шел мелкий, косой дождь; по тротуару прыгали тусклые, холодные слезы и, собираясь в маленькие лужицы, отражали в них огонь фонаря в виде расплывчатого, желтого пятна...»

Сергей Гарин Савелий Петрович

(Из жизни маленьких людей)

I

Мигал керосиновый фонарь у подъезда алатуевского общественного собрания...

Неуклюжий и длинный, этот фонарь торчал на чугунном кронштейне, как нахохлившийся ворон, уныло освещая одиноким глазом каменные плиты тротуара. Шел мелкий, косой дождь; по тротуару прыгали тусклые, холодные слезы и, собираясь в маленькие лужицы, отражали в них огонь фонаря в виде расплывчатого, желтого пятна...

В передней собрания скучал ряд пустых вешалок, отделанных под дуб. Временами мимо них проходил швейцар Яков – длинный, худосочный парень лет девятнадцати, с вечно заспанным и словно застывшим от скуки лицом. Он был одет в широкую и короткую ливрею, очевидно, с чужого плеча, а из-под нее вылезали нанковые штаны с обтрепанными концами. Ливрея раньше была сшита на короткого, но очень толстого человека, и, попав на Якова, висела на нем, как мех гармонии, произвольными и часто смешными складками.

Яков появлялся в передней каждые десять минут, впивался белесоватыми глазами в асфальтовый пол, по которому проходил недавно шваброй, и, оставшись доволен осмотром, шел к стеклянной двери подъезда, чесал затылок, тупо смотря в темноту улицы, зевал и опять шел в свою конуру под лестницей, ведущей во второй этаж.

В десять часов вечера хлопнула дверь подъезда. Вошел маленький, седенький старичок – алатуевский податной инспектор Грибанов, сбросил мокрое пальто на руки подбежавшего Якова, вытер фуляровым платком лоб и глаза и спросил, пряча платок в задний карман визитки:

– Никого еще?..

Он прекрасно знал, что в собрании нет еще никого, ибо ежедневно, в продолжение двадцати с лишком лет, первым приходил сюда он, Грибанов. Но все-таки спросил, как заведенный граммофон, – спросил механически, как и все делал в своей долгой, но раз навсегда пущенной по шаблону, жизни.

И Яков, хотя и служивший здесь всего третий год, но привыкший уже к неизменному вопросу Грибанова, ответил также механически, вешая пальто податного инспектора:

– Никого еще нет, Савелий Петрович!.. Вы-с – первый!..

Грибанов поднялся по широкой деревянной лестнице во второй этаж, прошел полуосвещенную биллиардную, в которой не было ни души, и вошел в большую комнату со столиками, у левой стены которой вытянулся молчаливый прила-

вок буфета.

На прилавке, тоже по раз навсегда заведенному шаблону, стояли рюмки, бутылки, закуски, высились неизменные вазы с фруктами и поднимались горкой цветные коробки папирос. Толстый, пожилой буфетчик, в порыжевшем сюртуке и белом галстуке, клевал носом, спрятавшись, со стулом, за большой никелированный самовар, недавно поставленный на прилавок двумя кухонными мужиками. От самовара бежал тонкой змейкой пар, а сам он шипел важно и торжественно, как только что подошедший к станции паровоз.

Увидя Грибанова, буфетчик лениво поднялся, поклонился и молча пожал протянутую руку, после чего налил в большую граненую рюмку английской горькой. Податной инспектор выпил ее в один прием, открыв широкий рот со вставными челюстями и далеко запрокинув голову. Выпил, поставил рюмку на стеклянную полочку и, взяв в лиловые от старости пальцы вилку, долго бродил с нею между тарелочками с закуской... А буфетчик молча следил равнодушными глазами за пальцами податного инспектора.

– Что новенького? – спросил Грибанов, прожевывая помидоры.

– Да ничего особенного, Савелий Петрович! Все по-старому. Вот, может, Лука Архипович что знает!..

Он кивнул на входившего почтово-телеграфного чиновника, лет сорока пяти, – черного, широкоплечего мужчину. Был он начальником местной конторы, носил золотые очки с

дымчатыми стеклами, неестественно длинные усы и коротко остриженную бородку. И по всей его фигуре, неуклюжей, будто вырезанной из крепкого, но плохо обработанного дерева, и по торчащим усам казалось, что если он заговорит, то заговорит обязательно сочным и громким басом, от которого дрогнет на прилавке стекло. Но заговорил он тоненьким голоском, и было странно слышать, что вылетают такие ничтожные звуки из этой могучей, чисто-богатырской груди.

– А... Савелий Петрович! Мое почтение!.. Здравствуйте, Иван Иванович! – здоровался он с податным инспектором и буфетчиком. – А к чему вы имя мое упоминали?.. А?..

Он крутил курчавой с круглой плешью на затылке головой и тянул носом запах, идущий с закусок. Буфетчик налил ему большую рюмку водки, податному инспектору повторил английской и сказал, пока те пили:

– Да вот, Савелий Петрович спрашивают: что у меня новенького?.. У меня такового не нашлось, я и говорю: может, Лука Архипович что скажут!

– Ничего и у меня нет! – пропищал почтовый чиновник и вздохнул. – Есть новости по-нашему, почтовому делу, но они, так сказать, к вам не подходят. А так новенького – ничего!..

И все трое задумались.

Понемногу буфетная начала наполняться. Пришел местный исправник – быкообразный, с оттопыренной нижней губой на огромном круглом лице и рачьими глазами. Он вы-

пил подряд три больших рюмки водки и только после этого стал закусывать. Его огромный рот работал, как заводская печь, только что принявшая большую дозу руды: был, казалось, бездонен, и, когда замыкался, как скрытые поршни гигантской машины, двигались ожесточенно челюсти.

Пришли несколько чиновников из казначейства, директор местной прогимназии, доктор из земской больницы, мировой судья. У прилавка образовалась толпа, и голоса смешались в общую кучу...

И вдруг быстрыми шагами вошел Андрей Иванович Корка – по профессии фотограф, а по натуре – большой, сплетник и распространитель сенсационных слухов. Маленький, толстый, с ощутительным животом, он нес свое короткое туловище на двух обрубках, одетых в широкие штаны. Лицо у него было мясистое, но плоское, как тарелка, из середины которой торчала маленькая пуговка – нос – и два хитрых серых глаза, выглядывавших из заплывших щелок. Он брил бороду и усы и потому походил на актера. И все смеялся тихим, шедшим откуда-то из глубины смехом, так что трясся живот его, и шевелилась на нем толстая, в два пальца, золотая цепь с брелочками.

– А у нас сегодня новый гость! – крикнул он, заглушая все голоса и пожимая направо и налево руки.

К нему все обернулись. На лице у каждого горело любопытство.

Исправник спросил густым басом:

– Кто же такой?.. А?..

– А вот увидите!

Корка подошел к прилавку и стал набирать в тарелку разные сорта закусок.

– Да не мучьте же! – крикнул Савелий Петрович таким тоном, будто к его пяткам прикладывали раскаленное железо.

Андрей Иванович не спеша выпил полынной и долго прожевывал бутерброд с яйцом и анчоусом. Он чувствовал, что все взоры устремлены на него, и смаковал положение.

– Ну?! – пробасил опять исправник, ненавидя в эту минуту Андрея Ивановича. – Вы вечно только раздражите!

Лицо Корки приняло торжественное выражение.

– Ну, хорошо, хорошо!.. Должен вам сказать, государи мои, что в нашем городе появилось новое, весьма интересное и, даже можно сказать, необычайное, лицо!.. К Федору Александровичу приехал племянник – корнет Санкт-Петербургской гвардии!..

Последние слова Андрей Иванович произнес с благоговейным испугом. И этот испуг передался слушателям и отразился на их лицах.

– Санкт-Петербургской гвардии! – прошептал, проникнутый священным трепетом, Савелий Петрович.

Грибанов никогда не был в Петербурге, да и вообще никогда в жизни не выезжал из родного Алатуева. Здесь он окончил гимназию, здесь же поступил на службу и проходил земной путь свой с покорностью маленького человечка. И ему

северная столица представлялась в виде какого-то сказочно-го царства, в котором живут важные, чиновные особы, недоступные обыкновенным смертным. И каждый раз, получая казенные пакеты из Петербурга, он съеживался и чувствовал себя нехорошо.

Не знали Петербурга и многие из присутствующих. И потому приняли новость с должным уважением, глубокомысленно нахмурясь и приосанившись. И только исправник, служивший когда-то подпоручиком в пехотном полку, стоявшем в Нарве, и бывавший раз десяток в Петербурге, добродушно забасил:

– Гвардии?.. Что же... это очень хорошо!.. А позвольте вас спросить, – обратился он к Андрею Ивановичу, – собственно, в каком же полку сей молодой человек служит?..

Корка безнадежно развел руками.

– А, ей-Богу, не знаю!.. Знаю только, что в гвардии, а в какой – доподлинно сказать не могу!..

– Не «в какой», – поправил исправник, – а «в каком полку»!.. Гвардия, государь мой, одна, но полки ее разные: кавалергарды... кирасиры... уланы... гусары... стрелки!.. Впрочем, где же вам знать все эти тонкости?!.. Для этого надо быть военным!..

Он выпятил вершка на два грудь и сочно звякнул шпорами. И все в эту минуту в глубине души пожалели, что судьба не дала им чести быть когда-нибудь военными.

Корка продолжал:

– Затем еще одно обстоятельство: новый наш гость – очень красивой и привлекательной наружности, так что алатуевскому дамскому и девичьему полу предстоят большие искушения!..

В буфетной было несколько ревнивых мужей и молодых людей. Услыша последнюю фразу Андрея Ивановича, они насторожились и сразу возненавидели приезжего корнета, будто приехал он с намерением ограбить и без того беспросветную жизнь их...

II.

Была поздняя ночь. За большим столом сидела компания, состоявшая из Савелия Петровича, Луки Архиповича, исправника, директора местной гимназии, доктора из земской больницы, мирового судьи и Андрея Ивановича Корки.

В центре сидели Федор Александрович и виновник торжества – приезжий корнет. Вся компания была пьяна, но пьяней всех был корнет – белокурый мальчик с вздернутым немного носом и чуть заметным пушком над верхней губой. У него были хорошие, детские голубые глаза, но они теперь были подернуты пьяным флером, как-то неестественно маслялись, порой слезились. Его синяя с золотыми шнурами куртка была расстегнута.

Федор Александрович, – управляющий государственным банком в Алатуеве – был тоже очень пьян, но пьян солидно, как и подобает чиновнику в чине статского советника... Он

шевелил нависшими седыми бровями, подбирал нижнюю губу и все время встряхивал головой, будто желал сбросить с нее что-то постороннее, мешающее ему жить и думать. Порой он искоса поглядывал на племянника, и тогда в глазах его светилось умиление.

– Племянник!.. Понимаешь: племянник! – наклонялся он к сидевшему напротив исправнику, и слезы текли по его бурым щекам, – Кровь сестры моей покойной, единственной!..

Исправник пялил на корнета рачьи глаза и покровительственно качал круглой, как тыква, головой:

– Ма-аладец!.. – басил он, криво улыбаясь. – Видно сразу, что наш брат... военный!.. М-да!..

– Водку пьет па-аразительно!.. – пропищал Лука Архипович и захихикал.

Корнет поднял на него совершенно бессмысленные теперь глаза.

– Что-о?..

– Я говорю: водку пьете хорошо! – повторил Лука Архипович.

На лицо корнета легла дымка грусти. Будто напомнили ему о чем-то дорогом, давно ушедшем в прошлое...

– Водку?... Да... это... могу!..

Он трясущейся рукой налил себе в стакан коньяку и выпил его в два приема.

– Петя! – укоризненно обернулся к нему Федор Александрович. – Ты... того...

Но затем сам налил себе того же коньяку и полез чокаться с судьей.

Савелий Петрович был трезвее всех. Он сидел на конце стола, выпил всего четыре рюмки водки, а в последующие разы, когда пили все и с ним чокались, тихонько выливал содержимое под стол. Делал он это с мастерством фокусника и так ловко, что никто этого не заметил. Он сидел и воспаленными глазами смотрел на корнета, и в душе его поднималась горечь какой-то, неизвестно откуда появившейся, обиды. Он ненавидел сейчас корнета так, что, если бы было можно, он ткнул бы ему в глаз вилкой, плеснул бы в его лицо остаткам чая, бросил бы в него огрызки колбасы.

Это была ненависть не Грибанова – алатуевского податного инспектора, а – маленького, ничтожного человечка, заброшенного судьбой в поганую и тусклую дыру, не видевшего ничего в прошлом и отчаявшегося в будущем.

– Щенок! Щенок!.. В петербургских гостиных!.. Среди министров! – кричало что-то внутри Грибанова, и он ежился от обиды, зависти, и трясся от безысходного горя. – Женщины!.. Красивые!.. Богатые!.. – проносилось дальше в мозгу податного инспектора, и вставал образ его жены-мещанки, оплывшей, некультурной бабы...

И податной инспектор не пил и не ел, обдумывая: какую бы гадость устроить этому опьяневшему мальчишке?..

В третьем часу ночи Федор Александрович поднялся и пошел играть с исправником на биллиарде. Поднялись из-

за стола и другие – кто в биллиардную, кто – просто подремать на диванах в библиотечной. В комнате остались: корнет, упавший головой на стол, Савелий Петрович, сидевший все еще на своем месте, и дремавший за буфетом на стуле буфетчик.

Уходя, Федор Александрович пробовал было растолкать племянника, но тот что-то мычал и тыкался в стол ГОЛОВОЙ.

– Оставьте его... – сказал Савелий Петрович. – Пусть проспится!

Корнета оставили в покое. И когда все ушли, Грибанов тихо поднялся со стула, также тихо подошел к корнету, боязливо оглянулся на буфетную стойку и... смачно плюнул корнету в затылок... Затем схватил банку с горчицей, запустил в нее закорузлый указательный палец и, набрав горчицы, стал злорадно мазать корнету лицо и тужурку...

А потом, ступая по-кошачьему, вышел из буфетной, пробрался боком в переднюю, оделся и вышел...

Над городом ползли те же грязные, дождевые тучи... И, неуклюжий и длинный, как нахохлившийся ворон, мигал последним светом керосиновый фонарь над подъездом собрания...

А Савелий Петрович бежал домой мелкими, трусливыми шажками и ехидно улыбался...